

В каждом художественном произведении находим ряд заданий, поставленных себе автором. Задания эти бывают различного порядка: философского, психологического, описательного и т. д. — до заданий чисто формальных включительно. Ставятся они не с одинаковой сознательностью. Часто в процессе творчества одна такая задача оказывается разрешённой полнее, чем другие, как бы подавленные, приглушённые, несущие лишь служебную роль. Но самая наличность ряда проблем в художественном произведении неизбежна; в частности, стихотворец, по самой природе своего ремесла, не может себе поставить менее двух заданий, ибо стих содержит в себе по крайней мере два содержания: логическое и звуковое.

Одно из самых поразительных свойств пушкинской поэзии, может быть — одна из тайн пресловутой её гармоничности заключается в необыкновенном равновесии, с каким разрешает поэт эти параллельные задания. Поразительно, с какой равномерностью делит он между ними своё внимание, с какой исчерпывающей полнотой одновременно разрешает их все. В пьесе, в которой смысл — благословение мирной, домашней, трудовой жизни, с равным вниманием изображён и добрый домовый, к которому обращено стихотворение, и молитвенное смирение обитателя дома, и, наконец, самое поместье с его лесом, садом, разрушенным забором, шумными клёнами и зелёным скатом холмов. Задачи лирика, передающего своё непосредственное чувство, и фольклориста, и живописца разрешены каждая в отдельности совершенно полно. В читателе одновременно и с равной силой затронуты три различных чувства. Трёхпланность картины даёт ей стереоскопическую глубину.

Подобные ряды параллельных заданий можно вскрыть в любом из творений Пушкина, но нигде его мастерство не достигает таких вершин, как в поэмах.

Здесь поражает не только мастерство в разрешении заданий, но и количество их. Можно составить длинный перечень тем, получивших полную и глубокую разработку, например, в «Медном всаднике». Это, во-первых, трагедия национальная в тесном смысле слова: здесь, как не раз указывалось, изображено столкновение петровского самодержавия с исконным свободолюбием массы; особый смысл приобретает эта трагедия, если на бунт бедного Евгения посмотреть как на протест личности против принуждения государственного, как на столкновение интересов частных с общими; особый оттенок получит эта трагедия, если вспомним, что именно пушкинский Пётр смотрит на Петербург как на окно в Европу: тут вскрыется нам кое-что из проклятейшего вопроса, имя которому — Европа и мы. Но нельзя забывать, что «Медный всадник» есть в то же время ответ на польские события 1831 года, что бунт Евгения против Петра есть мятеж Польши против России. Наконец, как мне уже приходилось указывать, «Медный всадник» есть одно из звеньев в цепи петербургских повестей Пушкина, изображающих столкновение человека с демонами. Однако сказанным далеко не исчерпаны задания поэмы. Прав будет тот, кто увидит в ней бесхитростную повесть о разбитых любовных надеждах маленького человека; прав и тот, кто выделит из поэмы её

описательную сторону и подчеркнёт в ней чудесное изображение Петербурга, то благоденствующего, то «всплывающего, как Тритон», из волн наводнения, которое само по себе описано с документальной точностью. Наконец, мы будем не правы, если не отдадим должного Вступлению к поэме как образцу блистательной поэтической полемики с Мицкевичем.

Но параллельные задания у Пушкина — тема большого, пристального исследования. Сейчас я коснулся её затем только, чтобы на примере напомнить, как ряд заданий поэта придаёт его творениям ряд параллельных смыслов. Пушкин показывает предмет с целого множества точек зрения. Вещам своего мечтаемого мира он придаёт такую же полноту бытия, такую же выпуклость, многомерность и многоцветность, какой обладают предметы мира реального. Поэтому к каждому из его созданий приложим целый ряд критериев, как он приложим к вещам, окружающим нас. Подобно тому как художник, и геометр, и ботаник, и физик в одном предмете вскрывают различные ряды свойств, так и в творениях Пушкина разные люди усматривают разное — с равными на то основаниями. Воистину — творец Пушкин, ибо полна и многообразна жизнь, созидаемая его мечтой. Есть нечто чудесное в возникновении этой жизни. Но нет ничего ни чудесного, ни даже удивительного в том, что, раз возникнув, мир, сотворённый Пушкиным, обретает собственную судьбу, самостоятельно протекающую историю. Исключительная многотемность Пушкина влечёт за собой такую же исключительную многозначимость его произведений.

И если творения всех великих художников, заключая в себе ряды смыслов, вызывают соответственные ряды толкований, то творения Пушкина принадлежат к числу наиболее соблазнительных в этом отношении. Этот соблазн вытекает из самой природы пушкинского реализма. Так что, если к тому же мы примем во внимание естественное свойство критики отражать лицо критика, по крайней мере, в такой же степени, как и лицо поэта; другими словами, если припомним, с какой неизбежностью произведения великих художников приобретают разные оттенки, значения, смыслы в глазах сменяющихся поколений и целых народов, то нам станет исторически понятно всё многообразие смыслов, вскрываемых в произведениях Пушкина. Пушкина толковали и толкуют по-разному. Но многообразию толкований есть, так сказать, профессиональный риск гениев — и надо признаться, что в последнее время неожиданность суждений, высказываемых о Пушкине, начинает бросаться в глаза. Правда, многое намечается верно и зорко, но многое поражает отдалённостью от того непосредственного и непредвзятого впечатления, которое даётся произведениями поэта; многое, наконец, положительно идёт вразрез с непререкаемой ясностью пушкинского текста. Я имею в виду отнюдь не сознательные передёргивания и подтасовки, совершаемые ради литературной, а то и просто житейской корысти, — хотя, к несчастью и стыду нашему, бывает и так. Но такие явления случайны и ничего не говорят о внутреннем соотношении между Пушкиным и нашей эпохой. Зато глубоко показательными представляются некоторые безукоризненно добросовестные труды, в которых даются толкования, находящие слишком смутное подтверждение в пушкинском тексте, делаются обобщения слишком смелые, высказываются гипотезы слишком маловероятные. Как один из примеров, со всевозможными оговорками, я бы всё же решился назвать книгу Гершензона «Мудрость Пушкина», в высшей степени ценную и интересную по глубине и оригинальности многих мыслей. Немало верного сказано в ней о Пушкине — а всё-таки историк литературы Гершензон, выступая истолкователем Пушкина, оказался человеком слишком иного уклада, нежели сам Пушкин: Гершензон стоит уже на той незримой черте, которой история разделяет эпохи.

И Гершензон не один. С каждым днём таких критиков, большего или меньшего значения, является и будет являться всё больше. Если, как я уже говорил, лицо великого писателя неизбежно меняется в глазах сменяющихся поколений, то в наши дни, да ещё по отношению к бесконечно многомысленному Пушкину, эта смена должна проявиться с особой силой. История наша сделала такой бросок, что между вчерашним и нынешним оказалась какая-то пустота, психологически болезненная, как раскрытая рана. И всё

вокруг нас изменилось: не только политический строй и все общественные отношения, но и внешний порядок, ритм жизни, уклад, быт, стиль. У нас новые обычаи, нравы, одежды, даже, если угодно, моды. Тот Петербург, по которому мы сегодня пойдём домой, — не Петербург недавнего прошлого. Мир, окружающий нас, стал иной. Происшедшие изменения глубоки и стойки. Они стали намечаться ещё с 1905 года, 1917-й только дал последний толчок, показавший воочию, что мы присутствуем при смене двух эпох. Превратившаяся Россия, а тем самым Россия пушкинская, сразу и резко отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе событий. Петровский и Петербургский период русской истории кончился; что бы ни предстояло — старое не вернётся. Возврат невозможен ни исторически, ни психологически.

И вот, в применении к пушкинскому наследству, из создавшихся условий приходится сделать некоторые выводы. Мало того, что созданиям Пушкина предстоит претерпеть ряд изменений в сознании читателей. Об этих изменениях я говорил только как о явственном признаке того, что Пушкин уже, так сказать, отделился от своего времени и вышел в открытое море истории, и ему, как Софоклу или Данте, предстоит обрасти толкованиями и комментариями. Должно произойти ещё и другое.

В истории русской литературы уже был момент, когда Писарев «упразднил» Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произносилось с раздражением, даже со злобой, естественной для ценителей литературы, но невозможной для историка, равнодушно внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину было неумно и безвкусно. Однако ж оно подсказывалось идеями, которые тогда носились в воздухе, до некоторой степени выражало дух времени, и, высказывая его, Писарев выражал взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирался Писарев, были людьми небольшого ума и убогого эстетического развития, но никак невозможно сказать, что это были дурные люди, хулиганы или мракобесы. В исконном расколе русского общества стояли они как раз на той стороне, на которой стояла его лучшая, а не худшая часть.

Это было первое затмение пушкинского солнца. Мне кажется, что недалеко второе. Оно выразится не в такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблён. Но — предстоит охлаждение к нему.

Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это второе затмение станет очевидно для всех. Нельзя и среди людей точно определить те круги, те группы, на которые падёт его тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены между нами. Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притуплённых раздирающими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова — не отщепенцы, не вырождающиеся: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распоролы немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей — и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты, но всё же до понимания Пушкина им надо ещё долго расти. Между тем необходимость учиться и развиваться духовно ими сознаётся недостаточно, — хотя в иных областях жизни, особенно в практических, они проявляют большую активность.

И не только среди читателей: в поэзии русской намечается то же. Многие в Пушкине почти непонятно иным молодым поэтам, — потому, между прочим, что они не всегда достаточно знакомы со всем окружением Пушкина, потому, что дух, стиль его эпохи им чужд и остатков его поры они уже не застали. То же нужно сказать о языке. Быть

может, они даже следуют пушкинскому завету учиться языку у московской просвири, но просвирия сама уже говорит не тем языком. Многие оттенки пушкинского словаря, такие многозначительные для нас, — для них не более как архаизмы. Иные слова, с которыми связана драгоценнейшая традиция и которые вводишь в свой стих с опаской, не зная, имеешь ли внутреннее право на них, — такой особый, сакраментальный смысл имеют они для нас, — оказываются попросту бледными перед судом молодого стихотворца, и не подозревающего, что ещё значат для нас эти слова сверх того, что значат они для всех по словарю Даля. Порой целые ряды заветнейших мыслей и чувств оказываются неизъяснимыми иначе, как в пределах пушкинского словаря и синтаксиса, — и вот это заветнейшее оказывается всего только «стилизацией»!

Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы, подобно тому как в пору первого затмения проповедовалось главенство содержания. И то и другое одинаково враждебно всему духу пушкинской поэзии. Те, кто утверждает, что Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его — вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения, — суть писаревцы наизнанку. Сами того не зная, они действуют как клеветники и тайные враги Пушкина, выступающие под личиной друзей.

Говоря всё это, я имею в виду вовсе не футуристов, а представителей гораздо более «умеренных» литературных групп. Можно бы рассказать великое множество прискорбных курьёзов, доказывающих, что прямое, элементарное непонимание и незнание Пушкина есть явление, равно распространённое в молодой литературной среде, как и в среде читательской. Всё это — следствие нарастающего невнимания к Пушкину; возникает оно из того, что эпоха Пушкина — уже не наша эпоха, а писателем древности он ещё не сделался, так что научное изучение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, составляет ещё достояние немногих. Важность и ценность такого изучения ещё не понятны ни массовому читателю, ни массовому писателю. И вот наивный юноша наших дней, равно читатель или молодой стихотворец, полагает, что Пушкин «попросту устарел».

То обстоятельство, что холодность к Пушкину вырабатывается не в колбах литературной лаборатории, что она обща и писателю, и читателю, — показывает, что она питается ежедневно возникающими условиями действительности. Как и во дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, то есть проистекают из причин, в литературно-общественном смысле органических. Причины эти не те, что были во дни Писарева, отстранение от Пушкина теперь по-другому мотивируется, но оно может оказаться более прочным, распространиться шире и держаться дольше, потому что подготовлено историческими событиями огромного значения и размаха.

Немало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубение во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведёт к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры, — ей предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачён будет и образ Пушкина.

Но я был бы неоткровенен, если б, заговорив об этом, высказался не до конца. Может случиться так, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что назвал я затмением Пушкина, затянется дольше и не пройдёт бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда...

Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не верил в неё. В лучшем случае надеялся он быть любезным народу «долго» — отнюдь не «вечно»: «И долго буду тем народу я любезен...». Охлаждение представлялось ему неизбежным и внешне выражающимся двояко: или толпа плюёт на алтарь поэта, то есть его оскорбляет и ненавидит, — или колеблет треножник его «в детской резвости». По отношению к самому Пушкину

первая формула уже невозможна: «толпа» никогда не плюнет на алтарь, где горит огонь его; но следующий стих: «И в детской резвости колеблет твой треножник» сбудется полностью. Мы уже наблюдаем наступление второго затмения. Но будут и ещё. Треножник не упадёт веками, но будет периодически колебаться под напором толпы, резвой и ничего не жалеющей, как история, как время — это «дитя играющее», которому никто не сумеет сказать: «Остановись! Не шали!»

Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль и уступить место другим, уже напирающим сзади. Шумя и теснясь, толпа колеблет треножник поэта. Наше самое драгоценное достояние, нашу любовь к Пушкину, как горсть благовонной травы, мы бросаем в огонь треножника. И она сгорит.

О, никогда не порвётся кровная, неизбежная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с неё нам уйти некуда. Но она ещё много раз будет размежевана и перепажана по-иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил её своей кровью, порой будет забываться.

Отодвинутый в «дым столетий», Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы, но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, как порою кажется, будто меняется бронзовое лицо статуи. И кто знает, что прочитают на нём грядущие люди, какие открытия они сделают в мире, созданном Пушкиным? Быть может, они разгадают то, чего мы не разгадали. Но многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят.

То, о чём я говорил, должно ощущаться многими как жгучая тоска, как нечто жуткое, от чего, может быть, хочется спрятаться. Может быть, и мне больно, и мне тоже хочется спрятаться, но что делать? История вообще неуютна. «И от судеб защиты нет». Тот поднятый интерес к поэту, который многими ощущался в последние годы, возникал, может быть, из предчувствия, из настоящей потребности: отчасти — разобраться в Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его временем, отчасти — страстным желанием ещё раз ощутить его близость, потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой. И наше желание сделать день смерти Пушкина днём всенародного празднования отчасти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке.

---

*Речь была прочитана в Доме литераторов на пушкинском вечере 14 февраля 1921 года. Повторно прочитана в Петербургском университете 26 февраля. Напечатана: Вестник литературы. 1921. № 4/5 (28/29).*